



В. МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ

О смерти в современной поэзии

<фрагмент>

I

В жизни каждого человека, как и в жизни целых народов, есть такие перепоутья, где никак нельзя разминуться с величайшей из тайн, именуемой Смертью.

Множество людей живет так, как если бы они были бессмертны и, подобно Ивану Ильичу, лишь в последних муках сознают мертвость того, что было их жизнью, и ужас Того, что они обречены ощущать как полное и окончательное уничтожение.

Множество людей *думает* о смерти то элегически, то с детской боязливостью, то с отвлеченною философскою любознательностью.

Но есть такие перепоутья, где нельзя уже думать, мечтать, размышлять о смерти, а надо *жить* с нею, жить ею, или умирать от нее, или одолеть ее.

На этой трудной и опасной грани живет большинство поэтов нашего времени, и как жутка, как близка уже к безумию и кошмару эта жизнь, как мало в ней уцелело дневного, общедоступного, привычного.

Когда Пушкин писал:

Есть упоение в бою
И мрачной бездны на краю,

душа его касалась этой грани, но лишь на миг — а через миг уносилась могущественным взмахом орлиного крыла на непостижные для нас вершины, где и «дуновение чумы», и «ураганы», и всякая другая гибель звучали в мировой гармонии, как

Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.

Был и Тютчев у этой грани; но душе его было дано сбрасывать оковы раздельного бытия и, сливаясь с природой, знающей смерть лишь как вечное возвращение жизни, убегать от страшного лика тени смертной.

Великолепное рассудочное обращение к смерти Баратынского

О, дочь верховного эфира,
О, светозарная краса и т. д. —

самым тоном своим говорит, как далек от поэта был по существу этот образ.

Ни Полонский, ни Майков, ни Плещеев, ни Фет, ни другие с менее прославленными именами не подходили так близко и так надолго к тайнам гроба и воскресения, как это случилось с современными нам поэтами в два последние десятилетия.

Никто из людей ни разу не сделал этого шага добровольно и сознательно.

В глубинной жизни духа, определяющей внутренние наши пути, нет места велениям воли и разума. Каждая катастрофа здесь, каждое падение и каждое достижение управляются своими таинственными законами, и воля с разумом имеют лишь власть сделать ту или иную надстройку над этими «безднами и снами». Но по этим надстройкам можно судить, как справилась душа с постигшим ее жребием, и какие прочла для себя в нем приговоры, и какие обрела надежды.

II

В конце девяностых годов томно и женственно-кокетливо заговорила о своей близости к смерти одна из первых в плеяде певцов смерти — Зинаида Гиппиус:

...И падает, и падает... (снег)
К земле все ближе твердь,
Не странно сердце радует
Безмолвие и смерть...

Или:

Полувувядших лилий аромат
Мои мечтанья легкие туманят —
Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет...
Мир успокоенной душе моей!
Ничто ее не радует, не ранит...

Но мало-помалу на месте красивой меланхолической идиллии поселяется тревога и страх перед процессом кладбищенского оцепенения и опустошения во внутренних покоях души. Тогда полные искреннего отчаяния вопли вырываются из ее груди:

...Ужель у Бога нету жалости?
Ужель у Бога нет любви?

И родятся дышащие величавой и мудрой резиньядией строки:

Люблю отчаяние мое безмерное.
Нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Нужно каждую чашу пить до дна.

Но труднее всего, ответственнее всего и порой невозможнее всего человеку в трудные минуты оставаться самим собой. И в стихотворениях последних годов З. Гиппиус мы видим, как она призывает Христа, говорит о христианском смирении, о любви — и насколько бодлеровские «Литании Сатане» богаче религиозным чувством, чем эти мертвенно-благочестивые строфы!..

Тут у З. Гиппиус общая судьба с Мережковским. В том, как они произносят имя Христа, есть особая интонация, делающая из Него модный литературный образ.

Джокондовская двойственная улыбка — превыше добра и зла — вот истинный пафос этой тончайшей и дерзостной поэтической природы. И там, где вспыхивает эта змеиная фосфорическая улыбка в последних стихах, кладбищенское тление и запустение чудесно преображаются в сад, полный чарующих, опьяняющих, неведомых цветов.

III

Странно говорить о смерти, о тени смертной, т. е. о реальнейшем соприкосновении с этим началом (не по слухам, не в мечте и гадании, а лицом к лицу), когда речь идет о таком, казалось бы, вечно весеннем, архижизненном поэте, как Бальмонт.

Но разными личинами дарит лик тени смертной тех, кто приблизился к нему.

Иных он обращает в мотыльков и заставляет кружить по тысячу раз уже сделанному кругу.

В «Зареве Зорь» все те же, давно читателю знакомые, но зловеще обездушенные

«вышние эфирности;
новолунности и пирности»,

«яркие стозвонности»,
«срывности пути»,

о которых рассказано было в веренице прежних книг, в каждой последующей книге все с меньшей жизненностью, чем в предыдущей, — пока не остались от всех этих «пирностей», как разноцветные крылышки давно умерших насекомых, одни разрозненные, блестящие слова.

Взоры гор — обсидион —
Чильчивитл зеленоцвет.

Неспроста и этот «чильчивитл» здесь с «обсидионом». Так ясно, что они родились только из желания дать новый звук уху и поразить невиданным словом читателя.

В невероятной легкости стиха и бредовой многоцветности образов болезненно ощущается отсутствие творческих усилий и преодолений, и непонятно, почему эта книга называется «Зарево Зорь», а не «Перепевности».

В те годы, когда иссяк впервые сверкающий тысячами радуг ключ этой безумно богатой души (и это было суровое напоминание о необходимости трудов и мук накопления), поэт писал:

Я — не прежний веселый, полубог вдохновенный,
Не властитель певучей мечты.
Я — угрюмый колодник, я — тоскующий пленный.
Я стою у последней черты.

И оттого, что он отвернулся тогда от этой черты, не захотел услышать и увидеть того, что за ней, и занялся обсидионом, чильчивитлем и альковными описаниями женской красоты, — оттого что он притворился по-весеннему счастливым и богатым, когда осень сорвала уже покровы с древа его жизни, — оттого призрачной, сейчас же улетающей и забывающейся жизнью живут и творения его с той поры. И так должно быть, пока не совершится возврат к самому себе, к первоисточнику своему, что всего ответственнее, труднее, а порою — по слабости человеческой — и совсем невозможно на страшных перепутьях, где поджидает душу лик тени смертной. <...>

